



Петр Валуев

Черный бор

«Public Domain»

Валуев П. А.

Черный бор / П. А. Валуев — «Public Domain»,

«Стенные часы в кабинете Степана Петровича Сербина пробили десять. Он взглянул на них, встал из-за письменного стола, пожал плечами, подошел к открытому окну и сердитым голосом кликнул проходившего мимо окна кучера Никиту. – Чего изволите? – отвечал Никита, сняв шапку и подойдя к окну. – Неужели Архип еще не вернулся? – спросил Степан Петрович...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	21
-----------------------------------	----

Черный бор

(Из недавнего прошлого одной из подмосковных губерний)

I

Стенные часы в кабинете Степана Петровича Сербина пробили десять. Он взглянул на них, встал из-за письменного стола, пожал плечами, подошел к открытому окну и сердитым голосом кликнул проходившего мимо окна кучера Никиту.

– Чего изволите? – отвечал Никита, сняв шапку и подойдя к окну.

– Неужели Архип еще не вернулся? – спросил Степан Петрович.

– Никак нет-с, не вернулся. Мы еще недавно высматривали, не завидим ли его на пригорке, где поворот; но на дороге никого не было видно.

– Он всегда опаздывает... Зачем было его посылать!

– Не я посылал, Степан Петрович. Ему Иван Фомич приказал ехать... Дорога больно дурна за лесом, у самой станции. Поневоле опоздаешь.

– Дорога всегда была дурна, а другие не опаздывали. Хорошо. Ступай.

Степан Петрович отошел от окна, еще раз посмотрел на часы, постоял с минуту в раздумье, потом взял с соседнего стола соломенную шляпу и трость и через смежный с его кабинетом коридор прошел в столовую, на противоположной стороне дома. С этой стороны к дому примыкал сад. Двери были открыты, и Степан Петрович направился по прямой аллее к выстроенному в конце ее павильону.

Павильон, лет сорок тому назад обновленный прежним владельцем села Васильевского в том самом виде, в каком он первоначально был выстроен еще при Александре I, с покоившимся на четырех колоннах греческим фронтоном, был перестроен Степаном Петровичем Сербиным в русском стиле. Покосившиеся и подгнившие дорические колонны исчезли. Перистиль обратился в крыльцо с прорезными перилами. Фронтон был заострен и окаймлен приделанными к нему прорезными украшениями одинакового с перилами узора. Позади павильона две обсаженные акациями дорожки расходились в разные стороны. Одна из этих дорожек вела к выходу из сада, по направлению к оранжереям и к расположенному за ними обширному огороду; другая приводила к калитке, через которую можно было перейти в отдельный палисадник, устроенный перед домом, где при прежнем владельце помещался садовник, а теперь жила дальняя родственница Сербина Прасковья Семеновна Криленко, вдова умершего года два тому назад профессора одного из южных университетов.

Не доходя до павильона, Сербин оглянулся и, заметив, что в это время его дочь выходила из боковой аллеи в среднюю, повернул назад.

– Ты еще в саду, Вера, – сказал Степан Петрович, – а мне сейчас показалось, что я тебя слышал в гостиной.

– Да, папá, – отвечала молодая девушка. – Я было села за фортепиано – но нет охоты играть. Сегодня такая прекрасная погода, что я не выдержала и опять вышла в сад.

– А теперь ты, вероятно, зайдешь к мамá?

– Да, я еще не видела ее сегодня. После вчерашней головной боли она еще не вставала, когда я с час тому назад спрашивала о ней.

– К сожалению, эти головные боли теперь все чаще и чаще возвращаются, – сказал Степан Петрович, направляясь вместе с дочерью к дому; но, не доходя до расположенного перед ним полукругом цветника, он остановился, потом прибавил: – И мне в эту погоду

как-то не сиделось в моем кабинете. Я хотел пройти в оранжерею, а оттуда, быть может, и до ближнего поля. После бывшего третьего дня дождя ячмень заметно поправляется... До свидания, Вера.

Сербин поворотил назад к павильону, а молодая девушка медленным шагом дошла до цветника, раскрыла для защиты от солнца зонтик, нагнулась и стала медленно срывать маргаритки из обведенной вокруг цветника пестрой каймы, но между тем смотрела вслед отцу. Она заметила, что его соломенная шляпа промелькнула между акациями на одной из дорожек за павильоном. Тогда она оставила маргаритки, выпрямилась, простояла с минуту в раздумье, потом подошла к дверям столовой, но, не входя в дом, села у стены на скамье и, по-видимому, снова предалась прежнему раздумью. Одна рука продолжала держать над головой зонтик, хотя скамья была в тени; другой рукой она сжимала стебельки нарванных маргариток, но не смотрела на них; ее глаза были опущены и взор неподвижен.

Размышления Веры были прерваны вышедшей в сад Анною Федоровной Сербиной.

– Здравствуй, Вера, – сказала Анна Федоровна тем мягким, кротким голосом, который ей был неизменно свойствен.

Вера встрепенулась, торопливо встала и подошла к матери.

– Здравствуйте, мамá, – сказала Вера. – Я ведь уже была у вашей двери, но побоялась войти. Наташа меня уверила, что вы еще не просыпались. Как вы чувствуете себя сегодня?

Молодая девушка заботливо смотрела матери прямо в глаза, стараясь в них заранее вычитать себе ответ.

– Сегодня, слава Богу, хорошо, – отвечала Анна Федоровна. – Я только поздно встала. Мне нужно было порядком отдохнуть после вчерашней головной боли... Смотри, ты обронила цветы.

– Бедняжки! – сказала как-то уныло Вера, подбирая маргаритки. – Напрасно я вас и срывала, чтоб так скоро забыть...

– Дай их мне, – продолжала Анна Федоровна. – Я ведь очень люблю маргаритки. Может быть, ты и подумала обо мне, набирая их.

– Я всегда о вас думаю, милая мамá; но, признаюсь, этот раз я не подумала о вас...

– Все равно ты их мне отдашь теперь... А не знаешь, где папá?.. Почту привезли?.. Он два раза о ней спрашивал.

– Папá ушел в поле, – отвечала Вера как бы равнодушно. – Он, кажется, хотел взглянуть на ячмень после дождя. Он скоро должен вернуться.

– Не пойти ли нам к нему навстречу?

– Нет, мамá, нет. Вам после вчерашнего дня не следовало бы вовсе выходить в сад, на солнце.

– Ты, пожалуй, права. Пойдем на мой балкон. Мы там можем дожждаться папá. Он к завтраку во всяком случае будет.

Степану Петровичу было нетрудно вовремя вернуться к завтраку. Он вовсе не заходил в оранжерею и вовсе не осматривал ярового поля; другие причины могли замедлить его возвращение. Он был у Прасковьи Семеновны Криленко, и объяснение между ними помимо его воли затягивалось. Он упрашивал ее прийти к обеду. Она не соглашалась, говоря, что убедилась, наконец, в том, что ей больше нельзя оставаться в Васильевском. Степан Петрович был в сильном волнении. Он судорожно сжимал сложенные за спиной руки и то ходил взад и вперед по комнате, прервав разговор, то вновь останавливался перед Прасковьей Семеновной и возобновлял обращаемые к ней увещания и просьбы. Прасковья Семеновна сидела неподвижно в углу стоявшего вдоль стены дивана и отвечала отрывисто, ровным, сдержанным голосом, часто поднося платок к глазам, на которых несколько раз выступали слезы. Она почти не смотрела на Степана Петровича, и он напрасно старался поймать ее взгляд.

Прасковье Семеновне было под тридцать лет, но она казалась моложе, будучи небольшого роста, худощавой, с тонкими чертами лица, того круглого типа, который бывает одинаково свойствен женщинам великорусского и малорусского племени. Она производила приятное впечатление на всех, кто ее в первый раз видел. Внимательный взгляд ее темно-серых глаз, светившихся темным блеском под прямыми линиями черных бровей, возбуждал к ней внимание каждого. Все движения ее были тихи, ровны, голос всегда сдержан, и эта сдержанность скрадывала прирожденный ему жесткий звук. Прасковья Семеновна также сдержанно смеялась, когда ей случалось смеяться; но она смеялась редко и почти всегда жаловалась на болезненность, хотя таким жалобам противоречили свежие краски ее лица, тем более заметные, что они редко встречаются при черных, как смоль, волосах и худощавом телосложении. Складка между бровями, сжатые тонкие губы и общее выражение в чертах лица какого-то затаенного огорчения или постоянной озабоченности, в свою очередь, противоречили тем краскам. Всматриваясь в Прасковью Семеновну, нетрудно было остановиться на мысли, что сетования на здоровье служили ей только маской для прикрытия других забот и что посреди этих забот она умела, по мере надобности, и терпеть, и покоряться. В Степане Петровиче Сербине, напротив того, все с первого раза изобличало привычку ломать все, что его произволом могло быть переломлено. Нетерпимость к чужим мнениям постоянно слышалась в его речах, пренебрежение к чужой воле сквозило во всех его поступках. Его собственное «я», в мире мысли и в житейских делах, всегда стояло, сознательно или бессознательно, на первом плане. В доме никто не решался ему противоречить, кроме дочери, к которой Степан Петрович обнаруживал особую слабость, часто повторяя, впрочем, что он ее балует. Она одна безбоязненно высказывала при нем свое мнение и была усердным ходатаем за всех, кто перед Степаном Петровичем имел нужду в ее ходатайстве. При этом и Вере нередко случалось привлекать на себя взрывы свойственной ее отцу вспыльчивой раздражительности; но для нее такие бури проходили бесследно, и он сам, обыкновенно, старался загладить произведенное впечатление.

В продолжение разговора с г-жой Криленко Степан Петрович несколько раз возвышал голос и от просьб переходил к упрекам и угрозам; но тогда Прасковья Семеновна совсем переставала отвечать и упорно смотрела в открытое на палисадник окно, не произнося ни одного слова до тех пор, пока Сербин не изменял тона речи. Наконец, он взял у окна стул, поставил его перед диваном против угла, в котором сидела Прасковья Семеновна, и, не садясь сам, а держась обеими руками за спинку стула, сказал:

– Полина, нужно нам покончить раз навсегда с этими несносными непрерывными недоразумениями. Мое положение ясно, определено. Ты знаешь, что я тебя люблю. Я тебе и сердце, и душу отдал. В тебе я нашел то, чего сердце желало и требовал ум. Мы понимаем друг друга. Мы можем жить одной мыслью. Русская струнка звучит и в тебе, как во мне. Мы одно и то же любим и одно и то же ненавидим. Расстаться с тобой я не могу, но не могу и помешать тебе расстаться со мною. Ты властна меня бросить, убить меня горем; но двух вещей ты меня сделать не заставишь. Я не могу оскорблять жены и дочери, и не дам повода наброшенную на меня тень перебрасывать на общее дело, в котором я участник. Вот, скажут, он, тот истинный «русский человек», который дорожит отцовскими преданиями, помнит старину, усердно воюет против всякой заморской гнили. Хорош он! Завел себе в доме любовницу и выжил из дому жену и дочь...

Прасковья Семеновна судорожно поднесла платок к глазам и снова заплакала.

– Благодарю вас, Степан Петрович, – возразила она прерывающимся голосом. – Если я имела несчастье вас полюбить и себя для вас скомпрометировать, то никак не ожидала, что вы меня когда-нибудь так грубо обзовете любовницей...

– Полина! – продолжал почти жалобным тоном Степан Петрович. – Ты меня должна понимать. Не я так говорю; я привожу только то, что будут говорить другие...

– И другие никогда так говорить не будут, – отвечала Прасковья Семеновна, – если вы сами к тому не дадите повода. Кто же просит вас выживать из вашего дома жену и дочь?

– Но если бы я из-за тебя стал делать им сцены и в чем бы то ни было изменять мои привычки, то разве это было бы не то же самое?

– И сцены делать никто вас не просит. Я только чувствую, что ваша жена и ваша дочь кругом правы, и сама признаю, что я им должна уступить место. Они меня выживают из дому.

– Полина! зачем клеветать на них?

– Вот, я еще и клеветницей стала! Степан Петрович, я давно замечаю, что вы меня разлюбили и только из жалости не решаетесь окончательно оттолкнуть.

– Полина! – сказал Сербин, садясь на поставленный им стул и взяв руку Прасковьи Семеновны в свои руки. – Ты сама не веришь тому, что теперь говоришь. Ты знаешь, что я тебя не могу разлюбить. Но не приводи меня в отчаяние требованием невозможного. Наши отношения должны оставаться тайной для других. Ни жена, ни дочь их не подозревают. Они обе всегда к тебе внимательны и любезны.

– Да, при вас; они даже стараются тогда показывать особенное внимание ко мне.

– Но вы почти и не видите иначе, как при мне.

– Я, конечно, избегаю всяких других встреч; но и при вас я вижу в их глазах и в их голосе слышу, что они меня ненавидят.

– Это воображение. Все знают, что ты мне родственница и что особые обстоятельства меня заставили заняться твоими делами. Всем должно казаться естественным, что до устройства этих дел ты как будто остаешься на моем попечении.

– Нет, Степан Петрович, это не воображение; моя роль здесь никому не кажется понятной. Нечего делать, нужно покориться необходимости. Вы устроить моих дел не можете, и я должна удалиться. Лучше переносить одиночество и бедность, чем постоянное уничижение. – При этих словах слезы вновь выступили на глазах Прасковьи Семеновны. Она высвободила руку из рук Степана Петровича и заслонила ею глаза.

Сербин встал и после минутного молчания сказал:

– Как хочешь. Далее идти и поступать иначе не могу. Я всячески старался тебе доказать мою привязанность и сделать тебе жизнь если не вполне приятной и удобной, то, по крайней мере, сносной, насколько то от меня зависело. Я старался и будущее тебе обеспечить. Не далее как сегодня я хотел предложить после обеда поездку на Черный Бор. Я тебе уже говорил, что это имение продается. Я его имею в виду для тебя.

– Оно вовсе не продается, – сказала Прасковья Семеновна, опустив руку и остановив внимательный взгляд на Сербине.

– Нет, мне писали из Белорецка, оно решительно назначено в продажу. Владелец уезжает за границу, и ему нужны деньги.

– Зачем издевается вы надо мной, Степан Петрович? Вы, очевидно, боитесь людей и должны их бояться. Что же скажут они, если вы для вашей любовницы купите еще имение?

– Полина! зачем тебе огорчать меня сомнением в моей искренности? Ты ведь знаешь, что не я буду покупщиком и не я буду торговать имение.

– Не сомневаюсь в вашей искренности, – сказала мягким голосом Прасковья Семеновна. – Знаю вашу добрую волю. Но никто не поверит тому, чтобы у моей тетки нашлись деньги для покупки такого дорогого имения.

– Оно не может быть дорогим, – отвечал Степан Петрович. – Хозяин в нем никогда не бывал и ему цены не знает, а между соседями нет покупателей с деньгами. Имение достанется почти даром, если вырубить лес, который до сих пор старательно сберегали. При помощи Болотина твоя тетка может стать покупательницей для тебя, не возбуждая больших о том толков. Болотин у меня в руках и меня не выдаст. Когда дело сделается и ты

там поселишься, всяким толкам скоро настанет конец. Ты будешь полной у себя хозяйкой, и никаким вопросам и речам об обидах и тому подобном не будет места.

Прасковья Семеновна призадумалась, потом сказала:

– Тогда поезжайте без меня в Черный Бор. Увидим, что вам там скажут. Сегодня быть к обеду я все-таки не могу. Я слишком расстроена, и моя обычная нервная боль в спине не дает мне покоя. Впрочем, оно и лучше, если вы без меня будете осведомляться... Скажите у себя – или нет, я сама позже пошлю сказать, что извиняюсь, – я еще нездорова.

– Но завтра ты будешь, не правда ли? – сказал с повеселевшим лицом Сербин.

Госпожа Криленко молчала. Степан Петрович повторил вопрос.

– Буду, – тихо ответила Прасковья Семеновна. – Что же делать мне? Я невольница. Вы меня подчинили своей воле...

– Полина! – воскликнул с упреком Степан Петрович. – Вот так-то лучше. У меня от сердца отлегло. Вперед, надеюсь, не будет более речи об отъезде.

– Не могу обещать без оговорки, – отвечала Прасковья Семеновна. – Не от меня одной все зависит. Но, – прибавила она, любезно взглянув на Сербина, – вы знаете, что я сама не желаю с вами расстаться.

– Благодарю за доброе слово, – сказал Сербин, взяв Прасковью Семеновну за руки и поцеловав обе руки. – Теперь мне пора уходить, и я уйду спокойный...

– Надеюсь еще сегодня услышать о том, что вы узнаете насчет Черного Бора, – сказала г-жа Криленко.

– Конечно, – отвечал Сербин.

Когда он вышел, Прасковья Семеновна встала у открытого окна. Проходя через палисадник, Степан Петрович кивнул ей головой, потом открыл карманным ключом калитку в сад, запер ее за собой и быстрыми шагами направился мимо павильона к своим оранжевым.

Прасковья Семеновна долго стояла в раздумье, прислонясь к окну и машинально перебирая в руках бахрому наброшенной на ней мантильи. Потом она села за поставленные близ окна пальцы, на которых вышивала для себя красным шелком края малороссийской свитки из белого сукна, и спокойно принялась за работу.

II

С полвека тому назад оба села, и Васильевское, и Черный Бор, принадлежали сенатору Бакларову, женатому на княжне Гариной. Он имел всего двух дочерей; из них одна вышла замуж за соседнего помещика Тебенина, а другая, раньше первой, – за поручика гвардии уланского полка барона Вальдбаха. Сенатор Бакларов жил в Черном Боре и завещал это имение младшей дочери, так как после замужества она в нем осталась жить со своим мужем, а муж ее принял на себя, по желанию тестя, заведование хозяйством и бросил службу. Старшая дочь поселилась в Васильевском, и к ней это имение перешло окончательно по смерти отца, скончавшегося года два спустя после ее брака. У Тебениных было несколько детей; у баронессы Вальдбах – только один сын, да и тот умер на третьем году жизни. Вскоре после того скоропостижно скончалась и баронесса. Тогда село Черный Бор перешло по наследству к Тебениной, за выделом указной части, деньгами, барону Вальдбаху. Новый владелец в дело не входил, но все предоставил на произвол своего поверенного, а сам уехал за границу. Между местными старожилками сохранялись долго легендарные слухи о вражде, которую старшая из сестер Бакларовых с детства питала к младшей, о добродетелях и красоте баронессы Вальдбах, о страстной любви к ней ее мужа, о ее отчаянной горе при ее кончине, о загадочных обстоятельствах этой кончины и даже о каких-то видениях на черномборском кладбище, где баронесса была похоронена. При Тебениных дом в Черном Боре оста-

вался запертым, и сад был запущен. Они жили в Васильевском и только через несколько лет, лишившись всех своих детей, продали оба имения и переселились в Москву. С тех пор Васильевское три раза переходило из рук в руки и наконец было куплено Степаном Петровичем Сербиным. Село же Черный Бор приобрел от Тебениных генерал Северцов, который в нем и жил до своей смерти; он обновил дом и все имение привел в полный порядок. Его наследник, племянник по сестре, полковник Алексей Борисович Печерин, редко посещавший Черный Бор, запустил имение, а сын его, Борис Алексеевич Печерин, со времени вступления в права владения имением даже и вовсе не бывал в нем, а поручил все хозяйство одному из прежних сослуживцев отца, отставному ротмистру Шведову, состоявшему членом белорецкой земской управы.

От Васильевского до Черного Бора было с небольшим четыре версты. Вид на господскую усадьбу открывался со стороны Васильевского, при самом выезде из ясеновой рощи, которую пересекала дорога. Каменные усадебные строения стояли отдельно, впереди села, близ почтовой дороги и наискось против находившейся по другую сторону дороги каменной церкви. Когда сокращалось число приходских церквей, предполагали отнести Васильевскую к приписным, а черноторскую оставить приходской; но стараниями Степана Петровича Сербина это было изменено, и в приписную обращена черноторская церковь, так как за нее отсутствующий помещик не мог предъявить ходатайства. Прихожане подавали несколько просьб, но эти просьбы остались без последствий. Необитаемый господский дом, с затворенными в нем окнами, запертыми воротами на большой, обнесенный каменной оградой въездной двор и заглухшим садом, производил грустное впечатление на стариков-крестьян. При Северцове, бывало, всякий мог к нему обратиться в случае нужды за советом или с просьбой о пособии. То же припоминалось о временах Бакларова и барона Вальдбаха.

Степан Петрович Сербин думал только о том великолепном, занимавшем несколько сот десятин сосновом боре, которому имение было обязано своим названием; в Белорецкой губернии со дня на день этот бор приобретал большую ценность при почти повсеместном истреблении в ней лесов. Все черноторские владельцы дорожили этим сокровищем и заботливо его оберегали. Даже полковник Печерин допускал в нем только выборочную рубку перестойных деревьев. Степан Петрович хорошо знал бор, потому что он был для Анны Федоровны и для Веры любимой целью поездок по окрестностям и любимым местом прогулки. Он не без основания рассчитывал, по известным ему примерам, что при покупке имения от отсутствующего владельца и на тех условиях, на каких отсутствующие владельцы, даже знающие цену деньгам, вообще склонны продавать имения, один бор мог вознаградить покупателя за всю купчую сумму и за все с покупкою сопряженные издержки. Именно такие расчеты занимали ум Степана Петровича, когда он садился в коляску после обеда, для того чтобы вместе с женой и дочерью предпринять поездку на Черный Бор, о котором он утром говорил Прасковье Семеновне Криленко.

На пути Анна Федоровна спросила как-то, справедлив ли слух о том, что черноторское имение продается? Степан Петрович небрежно отвечал, что и он об этом слышал; владелец, не имея намерения жить в Черном Боре, вероятно, не прочь от продажи.

– Жаль, что имение не продавалось тогда, когда ты купил Васильевское, – сказала Анна Федоровна. – Я помню, что ты осведомлялся и сам жалел о том, что в то время нам выбора не было. Местоположение там лучше нашего.

– Да, и дом переустроить стоило бы мне дешевле, – отвечал Сербин.

– Правда ли, – продолжала Анна Федоровна, – что ожидают скорого приезда молодого Печерина?

– Этому я мало верю, – сказал Степан Петрович. – Зачем ему приезжать, если он решил продать имение?

Разговор между спутниками скоро перешел от вопросов о современных и будущих судьбах Черного Бора к воспоминаниям о его прошлом, в связи с именами прежних владельцев. Вера заметила, что всякий раз, когда ей случается проезжать мимо пустынного черноборского дома, на нее производит какое-то особое грустное впечатление та лампадка, которая видна через окно в угловой комнате верхнего этажа, где, в память баронессы Вальдбах, устроена часовня. Анна Федоровна припомнила, что она ни от кого не могла узнать ничего положительного о том, что случилось с бароном Вальдбахом после его выезда из Черного Бора. Был слух, будто его раз видели здесь, после того как имение перешло от Тебениных к Северцову; но Степан Петрович сомневался в основательности этого слуха.

– Я и теперь сомневаюсь, – сказал Сербин. – Если бы Вальдбах приезжал сюда, его бы где-нибудь видели, кроме Черного Бора, и он не переписывался бы из-за границы с Северцовым насчет надписи, которая, по его желанию, высечена на камне над могилой его жены.

– Это так, – отвечала Анна Федоровна, – но ведь говорили, будто он был после того, как вделана надпись, а не прежде.

– И это рассказ, ничем не подтвержденный, – сказал Степан Петрович. – Слух первоначально распространился от того, что однажды вечером в раннюю осень, в августе или сентябре, какой-то проезжий остановился у постоялого двора, за рощей, недоезжая Черного Бора. Нужно было что-то починить в его коляске, а пока этим занимались, проезжий воспользовался ясной погодой, чтобы при лунном свете пройти вперед, до села. У церкви он встретил старого сторожа Кондратия, которого вы знаете и который теперь с лишком двадцать лет при доме. Они разговорились; проезжий зашел на кладбище, а потом будто бы входил и в дом, поджидая коляски. Но Кондратий говорит, что он в доме не был и уехал, как скоро его догнала коляска. Северцов в то время был в Белорецке, но в доме оставались люди, и никто из них проезжего не видал.

– Я слышала, будто проходившая крестьянка узнала Вальдбаха в ту именно минуту, когда он простился со сторожем и уезжал.

– И мне это говорили; но Кондратий утверждал противное. При месячном свете это могло той бабе померещиться. И для чего Кондратию лгать?

– Странно только, папá, – сказала Вера, – что как скоро зайдет речь о покойной баронессе или ее муже, что-нибудь всегда остается как бы неразъясненным или недосказанным.

– Иное, быть может, и неудобно было в свое время досказать, – отвечал Степан Петрович, – а теперь уже нельзя или поздно.

На этот раз, однако же, черноборский дом несколько изменил свой вид. В нем было заметно движение; дверь на подъездном крыльце и почти все окна были отворены; несколько рабочих занимались перед домом расчисткой дороги, огибавшей обсаженную кустами луговину.

– Не приехал ли Печерин? – сказала Анна Федоровна.

– Не может быть, – отвечал Степан Петрович. – Наши люди тотчас узнали бы об этом. Может быть, его ожидают, или ждут Шведова с каким-нибудь покупщиком, которому он хочет товар лицом показать.

Проезжая через село, Степан Петрович раза два останавливался, чтобы опросить встречавшихся крестьян; но он не добился от них ничего положительного. Одни говорили, что управляющий дал знать о приезде барина и приказал наскоро приготовить дом; другие передавали, что слышали от конторщика, что управляющий сам приедет с кем-то из Белорецка, но с кем именно, не могли объяснить. На обратном пути в Васильевское Степан Петрович был молчалив и казался озабоченным.

Прошло несколько дней. Всем сомнениям насчет приезда Печерина положен был конец. Дом в Васильевском наполнился слухами и рассказами о новом соседе. Его появление было крупным событием среди тихого однообразия сельской обыденной жизни. Он прие-

хал один, с камердинером, которого еще помнил бывший когда-то в Петербурге черноторский конторщик, но без своего поверенного Шведова, и приехал прямо, а не через Белорецк. Он осматривал поля и леса, побывал уже в Липках у соседних помещиков Суздальцевых и даже приезжал рано утром в Васильевское к священнику, чтобы попросить его отслужить на неделе, в будничный день, обедню в черноторской церкви. Он казался весел, был целый день в движении, со всеми приветлив, но ничего не говорил о том, надолго ли и с какими намерениями он приехал. Все это уже стало известным васильевским людям и волостному старшине, который счел нужным лично доложить Степану Петровичу о приезде Печерина. Новый сосед, естественно, стал постоянным предметом разговора и в семейном кругу Сербиных. Степан Петрович часто упоминал о нем, а Прасковья Семеновна Криленко, которая между тем успела выздороветь, особенно интересовалась всеми касавшимися Печерина подробностями и неутомимо расспрашивала о нем прислугу, до которой могли доходить из Черного Бора новые слухи и толки. Она слышала от своей горничной, что Печерин много занимается, в черноторской библиотеке, разбором книг и бумаг, оставшихся после Северцова; что он более обстоятельно расспрашивает о прежних временах Бакларовых и Северцова, чем о нынешнем хозяйстве; что он по два раза в день входит в домашнюю часовню, устроенную в память баронессы Вальдбах, и особенно ласков со старым сторожем Кондратием; при нем Кондратий вдруг стал другим человеком, менее угрюм, даже разговорчив. Священник отзывался весьма одобрительно о Печерине и вообще говорил, что вынес из свидания с ним самое приятное впечатление.

Любопытство, с которым в Васильевском ожидалось первое знакомство с приехавшим соседом, постепенно усиливалось под влиянием толков о нем. Прасковья Семеновна ежедневно предсказывала его визит и между тем, в надежде на случайную встречу, уговаривала Анну Федоровну предпринять новую поездку в ее любимый бор. Степан Петрович, со своей стороны, не замедлил предложить такую поездку, и на этот раз перед обедом, потому что был канун праздника, а Степан Петрович имел обыкновение бывать непременно у всенощной.

Проезжая мимо черноторской усадьбы, Сербины успели заметить, что она окончательно сбросила с себя прежние признаки запустения. Ворота в ограде были отворены; лугovina перед домом выровнена, трава на ней скошена, а в промежутках между окаймлявшими ее кустами появились цветные гряды; лампадка в часовне ярче светлелась через открытое окно; на крыльце сидели два человека из крестьян, по-видимому ожидая, что кто-нибудь к ним выйдет из дома, а двое других, пройдя в имевшуюся в ограде боковую калитку, направлялись к крыльцу.

– Меня теперь радует вид этого дома, – сказала Анна Федоровна. – Все ожило вокруг него, и он сам как будто ожил.

– Только на короткое время вся эта жизнь, – отвечал Степан Петрович. – Пока Печерину заблагорассудится здесь погостить, будет одна картина, а когда уедет – другая.

– Быть может, все-таки не прежняя, – заметила Анна Федоровна. – По всему, что о нем слышно, он, кажется, не расположен продавать имения.

– С точки зрения общей пользы, – сказал Степан Петрович, – следовало бы пожелать, чтобы он его продал. Эти налеты отсутствующего хозяина бесплодны. Владелец, который не живет в своем имении, напрасно мешает в нем жить другим.

У въезда в бор Анна Федоровна заметила еще одну перемену. Там разветвлялась дорога. Один путь, более широкий, пролегал вдоль бора, между ним и примыкающим к нему полем; другой вел вовнутрь бора. Близ разветвления стояли, в прежнее время, две скамьи, на которые Сербины имели обыкновение садиться для отдыха после прогулки в бору, любуясь открывавшимся оттуда видом на село, на извилины реки, протекавшей по соседним лугам, и на отдаленные холмы, которые с этой стороны волнистой чертою окаймляли горизонт. В прошедшем году скамьи были поломаны, и Анна Федоровна несколько раз о том

выражала сожаление. Теперь другие скамьи были поставлены на прежних местах, и свежие следы произведенной при том работы показывали, что она была выполнена в самом недавнем времени. Анне Федоровне пришло на мысль, что, по крайней мере, этот результат хозяйского налета, о котором упомянул Степан Петрович, во всяком случае, сохранится и после отъезда Печерина; но она не высказала своей мысли, а только указала на новые скамьи и добавила, что на этот раз можно будет, после прогулки, ими, по обыкновению, воспользоваться.

В это время сам Печерин объезжал дальние окраины бора. На возвратном пути он у последней просеки отпустил свои дрожки, намереваясь пешком дойти до села, и по той просеке вышел на дорогу, где стояла коляска Сербиных. Печерин осведомился у кучера, чья четверка, и затем, увидав, что Сербины уже сидели на новых скамьях, направился к ним, рекомендовал себя в качестве нового соседа Степану Петровичу и просил представить его дамам. Таким образом, первое знакомство состоялось неожиданно для обеих сторон. Печерин занял предложенное ему Анной Федоровной место подле нее и сказал, что потому именно приказал восстановить скамьи, что слышал от Суздальцевых, как это ей могло быть приятно. Разговор между новыми знакомыми завязался легко и продолжался без обоюдных усилий. Светский навык снабдил Печерина той сдержанной непринужденностью, при которой первые личные отношения к посторонним делаются незатруднительными. Тот же навык позволял Печерину всматриваться в своих собеседников, незаметно для них, и, не показывая виду, замечать, что в него самого всматриваются. Недоверчивое внимание выражалось в чертах лица Степана Петровича и, напротив того, добродушное расположение читалось на лице Анны Федоровны. В томных взорах и в особенно приветливой улыбке Прасковьи Семеновны можно было предположить свойственное многим женщинам хроническое желание нравиться. Она видимо заботилась о том, чтобы произвести на Печерина приятное впечатление. Одно только лицо, лицо Веры, ничего не высказывало.

Между тем небо хмурилось со стороны бора. Над ним пронеслась передовая струя поднимавшегося ветра; вершины сосен заколебались, и послышался удар далекого грома. Прасковья Семеновна чрезвычайно боялась грозы. Томное выражение ее глаз и улыбка мгновенно исчезли. Она быстро встала со своего места, тревожно оглянулась на небо и стала упрашивать Анну Федоровну поспешить возвращением в Васильевское.

– Рано в нынешнем году начинаются грозы, – заметила Анна Федоровна.

– Нам, впрочем, и без того было пора собраться в обратный путь, – сказал Сербин. – Мы с вами засиделись, Борис Алексеевич. Надеюсь, до скорого свидания. Милости просим к нам.

Печерин проводил Сербиных до их коляски и, подавая руку Вере, чтобы ей пособить подняться, спросил, не будет ли от нее поручений в Липки, к Суздальцевым, которых он на следующий день имел в виду навестить.

– Вы имеете в них преданных друзей, – прибавил Печерин. – Я это заключил из того, что они мне о вас говорили.

– Они очень добры ко мне, – отвечала Вера, – и я прошу им передать мой искренний поклон.

– Охотно исполню ваше поручение, – сказал Печерин, – и надеюсь вскоре привезти вам ответный поклон.

Коляска тронулась. Печерин с полминуты смотрел вслед ей, потом пошел по той же дороге, направляясь к своей усадьбе.

Сначала он шел привычным скорым шагом; но шаг постепенно замедлялся. Разные образы мелькали перед глазами Печерина, и разные мысли сталкивались в его голове. Воображение воспроизводило перед ним и новых знакомых, с которыми он только что расстался, и Черный Бор, где он так недавно поселился, и Петербург, из которого он также недавно

выехал. Он думал о том, чем была его жизнь там, чем стала теперь, в деревне, и чем будет в Париже, куда его направляла его судьба.

Назначение Печерина в Париж состоялось, собственно, потому, что он выразил намерение оставить службу, продолжение которой в Петербурге, по личным обстоятельствам, находит для себя неудобным. Но начальство, по-видимому, ценило Печерина и, с целью его удержать на службе, предложило ему новое назначение за границей. Решившись снова выехать из России, притом, вероятно, на долгое и, во всяком случае, на неопределенное время, Печерин должен был заняться устройством своих дел и между прочим счел нужным посетить свое черноборское имение.

Это имение досталось Печерину неожиданно. У него был старший брат, состоявший на военной службе – ему-то оно и предназначалось отцом; но сам отец был еще в таких летах, что, несмотря на болезненность, побудившую его выйти в отставку, еще надолго мог оставаться владельцем Черного Бора. Между тем старший сын, раненный в последнюю войну, умер в Содене за два года до того времени, когда в Васильевском стали говорить о новом соседе. Отец сошел в могилу через несколько месяцев после сына, и, таким образом, права владения Черным Бором перешли к Борису Печерину. Он еще прошлым летом собирался побывать в имении, но его тогда задержал в Петербурге один из тех эпизодов жизни, в которых слегка затронутое сердце само себя обольщает и чужая воля становится личной волей. На этот раз препятствий не было.

«Почему не приехал я сюда в прошлом году?» – думалось Печерину, пока он шел один по большой проезжей дороге, вслед за давно скрывшейся из виду коляской Сербиных.

«И зачем я теперь еду в Париж? Я, вероятно, не поехал бы, если б побывал здесь прежде. Жизнь меня напрасно учит. Всякий раз, когда я ее направляю по своей прихоти, мне приходится упрекать себя за то, что я не шел по настоящему пути. Мне путь был указан, и прямо на Черный Бор... Вместо того я безрассудно потратил целый год моей жизни...»

Подходя к усадьбе, Печерин заметил, что гроза минует Черный Бор. Церковь и дом были ярко освещены солнцем, но за ними, по направлению к Васильевскому, легла темно-синяя туча с нависшей над ней седой гривой. Частые молнии бороздили тучу, и раскаты далекого грома сливались в один общий, почти непрерывный гул.

– Что смотришь ты так пристально в ту сторону? – спросил Печерин сторожа Кондратия, стоявшего неподвижно близ церковной ограды.

– Я думал, – отвечал Кондратий, – что не случилось ли беды в Васильевском. Там молния ударила.

– Быть может, и не ударила, а только сверкнула.

– Быть может, беды не причинила, но ударила. Я к ним на веку присмотрелся. Словно стрела слетела. Но не слышать набата. Должно быть, не горит.

Вечером Печерину сказали, что Кондратий не ошибся. Молния действительно ударила в один из двух вязов, стоявших перед Васильевским домом, и в щепы его расколола.

III

Печерин испытывал в Черном Боре ряд совершенно новых для него ощущений. Вся его прежняя жизнь протекла в столицах или за границей, куда он еще до поступления на службу два раза сопровождал отца. С этой жизнью он свыкся и сроднился. Она была не бездеятельна, не беззаботна, не бедна увлечениями и теми печальями, которые всегда идут по следам увлечений. Она должна была обогатить его, и действительно обогатила, некоторым опытом, помогла сложиться и установиться характеру, дала привычку владеть собой и развила необходимую всякому способность внутреннего наблюдения и анализа. Но при всем разнообра-

зии содержания, обстоятельств и настроений та, прежняя, жизнь постоянно сохраняла одно общее свойство. Она была требовательна, а сама ничего не дарила.

Со времен детства Печерин был в первый раз в деревне, на тридцатом году жизни, и замечал, что как будто в первый раз он себя чувствовал дома и чувствовал свободным. То непрерывное ощущение затаенной или маскированной неволи, которое сопровождает все так называемые светские отношения, прекратилось. Требования завтрашнего дня не ложились тенью на нынешний, и нынешний не напоминал о требованиях вчерашнего. Прекратилось и то, другое, привычное Печерину ощущение вечного, часто мнимого, но тем не менее раздражительного городского недосуга, которое вызывалось теми тенями и напоминаниями. Время как будто вдруг стало шире и более покорно воле. При относительно счастливых условиях, в которые Печерин был поставлен, над ним не тяготела никакая спешная, назойливая, смущающая или огорчающая забота. Он чувствовал с раннего утра до поздней ночи, что дышал свободно, мыслил свободно и свободно делал то, что делал. У него был досуг, но досуг без пустоты. Было дело, но дело без гнета суетливой торопливости. Он был хозяином, но хозяином привольным, которому имущественный достаток позволял, без обременения других, на свои средства, а не на чужой счет, улучшать то, что следовало и было возможно улучшить. Ему представлялись или предлагались разные хозяйственные вопросы, но они его более занимали, чем заботили. Общее впечатление постоянно преобладало над всеми частностями, и не от этих частных зависело общее господствовавшее настроение. Правда, это настроение поддерживалось обаянием весенней природы. Май был на исходе. Вся зелень свежа и местами испещрена цветами. Взгляд охотно останавливался на купах деревьев, на извилинах реки между луговыми берегами и на дальней, темной полосе бора. Печерин чувствовал, что он теперь легко мог быть и добрым, деятельным, и полезным самому себе и другим. Он замечал, что все это чувствовалось и другими, вокруг него.

Черноборский дом до него был несколько запущен. Но каменное здание стародавней постройки, старательно содержавшееся в исправности при Северцове, не могло и после него настолько пострадать от времени, чтобы стать неудобным для жизни. Печерин с первого дня убедился, что даже можно было бы скоро и без больших затрат привести дом в такой вид, в каком он удовлетворял бы всем потребностям и привычкам жизни не в одно только летнее время.

Еще при первом подробном осмотре дома, на другой день по приезде, Печерина удивило одно обстоятельство, а именно, что одной комнаты не могли ему отпереть. Ему сказали, что ключ у старика Кондратия, а Кондратий зачем-то ушел в Васильевское. При дальнейших расспросах Печерин узнал, что в той запертой комнате находится часовня, устроенная бароном Вальдбахом в память жены; что для содержания этой часовни и особого при ней сторожа им оставлена при церкви довольно крупная сумма денег; он сам определил первым сторожем бывшего у него в услужении бессрочно-отпускного в то время унтер-офицера Кондратия; г-жа Тебенина хотела перевести часовню в церковь, но ее муж этого не позволил, и затем как Северцов, так и полковник Печерин признавали часовню неприкосновенной принадлежностью дома и ни в чем не стесняли Кондратия, который с первого же дня стал хозяином этой часовни, содержал в ней всегда горевшую перед образом лампаду, а ключ от комнаты постоянно носил при себе. Часа через три, пока Печерин осматривал принадлежности усадьбы, ему доложили, что Кондратий явился и ждет в столовой.

Выйдя к нему, Печерин увидел перед собой высокого, немного сутуловатого старика в военной форме, с густыми седыми усами, угрюмым выражением лица и неподвижным взглядом глаз, над которыми нависли непоседевшие черные брови.

— Здравствуй, Кондратий, — сказал ласково Печерин, подходя к старику. — Я о тебе спрашивал, но тебя не было дома.

– Виноват, – отвечал Кондратий, не сделав никакого движения и прямо смотря в глаза Печерину. – Мне нужно было сходить в Васильевское, версты за четыре отсюда.

– Знаю, – продолжал Печерин. – Но ты ничем и не виноват. Пожалуйста, отопри мне часовню. Ведь ты в ней хозяин. Так это было при моем отце, так должно и при мне быть.

– Когда прикажете?

– Да сейчас; ведь ключ при тебе?

– Всегда при мне, с самого того дня, как барон мне его передал.

Кондратий повернулся и вышел из столовой. За ним последовал Печерин; несмотря на его ласковый привет, угрюмое лицо Кондратия нисколько не прояснилось, и даже в его взгляде было что-то недружелюбное.

Часовня находилась в одной из угловых комнат верхнего этажа дома. К ней вели коридор, а затем две совершенно пустые, никакой мебелью не обставленные комнаты; они принадлежали к части дома, где в прежнее время жили барон и баронесса Вальдбах. Когда Кондратий дошел до запертой выходной двери, он снял с себя небольшой старый кожаный футляр, который носил на груди на ремне, надетом на шею, вынул из футляра ключ, перекрестился, отпер дверь, вошел в часовню и, остановясь у двери, пропустил мимо себя Печерина.

Стена против входа была убрана иконами, которые некогда принадлежали баронессе. В середине, в киоте из черного дерева с золочеными украшениями, находилась большая икона Казанской Божией Матери с висячей перед ней золоченой серебряной лампадкой. Несколько впереди стояло серебряное паникадило, на котором виднелись следы некогда зажигавшихся на нем свечей. В углу, у противоположной стены, был поставлен аналой с положенной на нем и покрытой обрезком старой серебряной парчи книгой. Стена на стороне входа ничем не была убрана, а на стороне окон, которых в комнате было два, стоял между ними небольшой, оклеенный совершенно поблекшим красным сафьяном письменный стол. Над столом был вделан в простенок черный, серебром оправленный крест, а под ним привешен резной, из дубового дерева гербовой щит, наполовину меньших против креста размеров.

Войдя в комнату, Печерин, в свою очередь, перекрестился, медленно осмотрелся в ней, остановился у письменного стола, взглянул на резной герб и потом обратился к Кондратию с вопросом:

– Как звали по имени покойную баронессу? Кажется, Марией.

– Марьей Михайловной, – отвечал Кондратий.

– Поэтому, вероятно, в среднем киоте и находится образ Богородицы.

– Должно быть, так. Барон соорудил икону.

– И стол им поставлен у окон?

– Им. Все здесь им устроено, и все осталось так, как он мне оставил и указал хранить.

– Баронесса, говорят, была добрая женщина.

Кондратий смотрел прямо в глаза Печерину и медлил ответом.

– Я так слышал от отца, – добавил Печерин.

– Марья Михайловна была ангел на земле, – глухим голосом проговорил Кондратий. – Она святая была. Бог потому и позволил, чтоб она на земле не осталась.

– Говорят, барон очень любил жену.

– Они жили душа в душу.

– И очень горевал о ней?

– Мы думали, что он не переживет горя и сам помрет. Но Бог дал силу, и он пережил.

– Жив ли он еще?

– Мы здесь не знаем.

– А она похоронена на кладбище у церкви?

– Здесь, на погосте, рядом с могилой сына. Вокруг могил железная решетка.

– Странно: я был в церкви и прошел вдоль ограды, но решетки не заметил.

- Вы прошли, может быть, по другой стене, ближе к алтарю.
- Целы ли на них надписи?
- Целы. И прежние, и та, которая вделана позже.
- Почему – позже?
- Так случилось, потому что барон позже пожелал того и писал генералу Северцову об этой надписи. Она не по-русски, а на английском языке.
- Почему – на английском?
- Генерал говорил, что она из английской книги взята.
- Проведи меня на ее могилу, Кондратий.

Печерин заметил, что по мере продолжения разговора выражение лица старика становилось менее угрюмым, и участие, с которым Печерин осведомлялся, производило на него выгодное впечатление. На пути к погосту он продолжал расспрашивать Кондратия о жене Вальдбаха, о нем самом и о том, как относились к их памяти его покойный отец и Северцов. Пройдя за церковную ограду, Кондратий повел Печерина вдоль южной стены и, сняв с себя фуражку, остановился не доходя до четырех памятников, которые своим видом отделялись от окрестных могил.

– Впереди, – сказал Кондратий, – покоятся родители Марьи Михайловны, а за ними – и она с сыном.

Выветрившиеся надгробные камни над могилами Бакларова и его жены не имели вокруг себя ограды, и надписи на них наполовину изгладились. Позади их, за решеткой, между прислонившимися к стене церкви кустами акаций и развесистым серебряным тополем, были два, неравной величины, памятника: небольшая плита из черного мрамора на каменном цоколе и восьмигранный высокий надгробный камень из такого же мрамора и на таком же цоколе. Надпись на лицевой стороне обозначала имя, отчество и фамилию, по браку и по рождению, баронессы Вальдбах. На одной из боковых сторон был обозначен день кончины; на другой значились слова из Послания св. апостола Павла к римлянам: «Ни единого зла за зло воздающе... не себе отмщающе... мне отмщение... глаголет Господь». На последней, четвертой стороне была высечена, по своей явственности, видимо, позднейшая надпись, состоящая из следующих стихов:

Two locks, – and they are wondrous fair, –
Left me that vision mild;
The brown is from the mather's hair,
The blond is from the child.
And when I see that lock of gold,
Pale grows the evening red;
And when the dark lock I behold,
I wish that I were dead.¹

Печерин снял шляпу, подойдя к этим двум могилам, и долго молча в них всматривался. Он в особенности несколько раз мысленно перечитывал английскую надпись. Сердце в нем сжалось, и ему стало искренне и сильно жаль Вальдбаха. Печерин заметил, что у старика были слезы в глазах.

– Тебе жаль их, Кондратий, – сказал Печерин. – И мне жаль: особенно жаль бедного барона.

¹ Виденье исчезло; – но я сохранил // На память того, что любил, чем я жил, // Две пряди волос; прядь одна, – золотая; // Как ночи крыло, так темна прядь другая. // То сына и матери дар мне святой. // Взгляну ль на златую – свет меркнет дневной. // Когда же на темную прядь я взираю, // Мне жаль, что я жив, и я смерть призываю.

– Видно, Бог обоих любил, – тихо проговорил старик. – Ее к себе взял. Его опечалил. Бог того печалит, кого любит. Его святая воля.

Печерин невольно подумал при этом о самом себе. Теперь никакое горе его не тяготило. Но что будет дальше? Неужели это неизбежно: если благословение Божие – то и печаль?

Старательный уход за могилами был виден у этих двух памятников. Около них и вдоль окружавшей их решетки зеленелась ровная густая трава, и сквозь траву местами пробивались полевые цветы. Остальное пространство погоста имело тот вид пренебрежения и запустения, который мы привыкли встречать на наших кладбищах.

– Видно, ты заботаешься об этих могилах, – сказал Печерин Кондратию. – Мне хотелось бы сделать то же. У меня там, перед домом, насадили цветы. Сходи и нарви, и принеси сюда. А я между тем обойду вокруг церкви.

Кондратий что-то хотел сказать в ответ, но промолчал, повернул к выходу из ограды и ускоренным шагом направился к клумбе, над засадкой которой усердно трудился перед приездом Печерина старый черноборский садовник.

Печерин обошел вдоль ограды весь погост. На нем местами теснились те деревянные кресты, с острыми и узкими над ними крышами, которые мы одинаково видим на сельских и на загородных петербургских кладбищах. Надгробными камнями с высеченными на них надписями были обозначены две-три могилы лиц купеческого звания. Печерин рассеянным взглядом смотрел на кресты и прочитывал некоторые имена. Воображение постоянно рисовало перед ним мужа и жену Вальдбахов. Их судьба занимала его мысль, и те две надписи прочно врезались в его память. Особенно занимала его надпись из Послания к римлянам – она казалась ему загадочной. Кому и за кого отпущение?.. Кондратий должен был знать об этом. Печерин сел, в раздумье, на ступенях церковного притвора и тщетно старался припомнить, не было ли в рассказах его покойного отца чего-нибудь, что могло бы хотя несколько разъяснить всю эту таинственность.

Между тем Кондратий принес цветы. Сам Печерин старательно уложил их у подножия памятника, с лицевой стороны, и, обратясь к Кондратию, снова заговорил:

– Ты, наверное, больше знаешь о Марии Михайловне и ее муже, чем говоришь. Были у них враги?

– Может, и были, – нерешительно отвечал Кондратий. – Барон мне не указал.

– «Барон не указал», – повторил Печерин. – Это, быть может, значит, что не указал говорить. Мне бы сказать он позволил... Пойдем назад, в часовню, Кондратий. Есть ли у тебя там свечи?

– Есть, – тихо отвечал Кондратий, – простые, мои копеечные. Я иногда ставлю.

Печерин вместе с Кондратием молча дошел до дома, отпустил ожидавшего его на крыльце садовника и прямо прошел в часовню.

В Печерине жило внутреннее, несколько смутное, но способное к душевной теплоте чувство, унаследованное от рано умершей матери и от отца, хотя в покойном это чувство проявлялось, среди водоворота светской и служебной жизни, менее явственно и менее постоянно. Печерин сам жил такой жизнью, и потому обычный круг его озабоченности, помыслов и занятий редко соприкасался с той затаенной в душе искрой, которая, однако же, могла по временам разгораться, светлеть в уме и согревать сердце. Такая минута внутреннего озарения и теплоты настала для него теперь. Он не давал себе отчета в том, что им ощущалось; он не произносил никакой уставной молитвы. Но он смотрел на икону, думал о жене Вальдбаха, о неутешной печали ее мужа, чувствовал, что он почему-то сам теперь страдал за них, и чувствовал, что теперь пред ним и над ним, как тогда над ними, было то неисповедимое, непостижимое, незримое, перед чем мы склоняем голову с ощущением благоговейного страха.

Когда Печерин оглянулся, он увидел, что за ним, у стены, стоял на коленях и плакал Кондратий, наклонив голову почти До земли и то одной рукой, то другой утирая слезы, струившиеся из его глаз. Он как будто не заметил, что Печерин подходил к нему; но когда Печерин тихо положил ему руку на плечо, он схватил эту руку и поцеловал ее.

– Что делаешь ты, Кондратий? – сказал Печерин, быстрым движением высвободив свою руку.

– Если бы Марья Михайловна и барон были здесь, – сказал Кондратий, вставая, – они приказали бы мне поцеловать вашу руку. Я двадцать пять лет делаю, что они мне приказали, и когда в чем-либо усомнюсь, то стараюсь придумать, что бы они могли приказать.

Лицо старика совершенно изменилось. Вместо прежней угрюмой сосредоточенности на нем виделась печаль; но, рядом с выражением этой печали, оно приняло и какое-то особое, почти торжественное выражение, которое поразило Печерина.

– Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич! – вдруг сказал Кондратий. – Вам я все поведаю. Были враги, были злодеи... извели Марью Михайловну... ее отравили... и сына отравили...

– Что ты?! – воскликнул Печерин.

– Оно так было, Борис Алексеевич. И кто извел?! Кто отравил?! Сестра извела! Сестра отравила!

– Сестра! – повторил Печерин с возрастающим ужасом.

– Родная сестра, Тебенина. Ей нужен был Черный Бор. Она всегда завидовала, всегда ненавидела сестру. Она отравила. А Марья Михайловна, умирая, запретила мстить. Она только перед своей смертью убедилась, что и сын был отравлен. Она заклинала барона не мстить. Он обещал и сдержал, что обещал.

Кондратий взял с аналая лежавшую на нем под парчой книгу и подал ее Печерину. То был молитвенник Марии Михайловны, и на первой странице было ее рукой написано то самое изречение апостола Павла, которое помещено и на памятнике над ее могилой.

– Барон не захотел взять с собой этого молитвенника, – продолжал Кондратий. – Он взял другой, а этот мне приказал хранить в часовне.

Печерин молча всматривался в написанные покойной строки. Чернила выцвели; буквы казались бледно-бурыми; но тонкий и правильный почерк остался виден.

– И она мстить запретила! – сказал как бы про себя Печерин.

– Господь отомстил, – сказал на это Кондратий. – Все дети Тебениных вымерли. Марья Михайловна скончалась накануне Петрова дня. Через год после того, в Петровский пост, умер у Тебениных старший сын. И затем, из года в год, как Петровки – так у них смерть. И новые дети рождались, но жить Господь не давал. Наконец, Его рука вымела их отсюда. Они распродали имения и куда-то переселились.

Между тем Кондратий уже не нуждался в расспросах для продолжения своих откровений. С него был снят зарок молчания, и он передавал Печерину, с краткими перерывами, то одно, то другое из теснившихся в нем всякого рода воспоминаний и легенд.

– Марью Михайловну предостерегали, – прибавил Кондратий, – но она не верила. Старуха Аксинья долго пророчила беду. У нас была такая старуха, ваше высокоблагородие, про которую разное говорили. Она только в церковь ходила и никому зла не делала; но люди думали, что она колдовала. Она не раз правду предсказывала. Когда после смерти сенатора сюда впервые приехала Тебенина, Аксинья всех спрашивала, видели ли, как коршун прилетел и сел на крышу господского дома. И после того, как ни приедет Тебенина, Аксинья опять про коршуна заговорит. Она же рассказывала, что видела на погосте, два раза, в лунные ночи, раз осенью и раз зимой, как покойница Марья Михайловна стояла между деревом и кустами, над могилою сына и, наклонив голову, как будто читала надпись на плите. Она вся в белом была и в цветах, как в гроб была положена, и вдруг скрылась. Только как будто белое облачко

поднялось с погоста к небу. Я раз двадцать сам ходил ночью на погост, все надеясь, что она и мне явится; но ждал напрасно, и напрасно молился Пресвятой Богородице, перед этой иконой, о том, чтобы я сподобился такого видения. Мне, грешному, она не показалась, и, кроме Аксиньи да еще другой женщины, Василисы из Васильевского, никто такого видения не имел. Но Василисе Марья Михайловна представилась иначе. Лет пятнадцать тому назад Василиса еще жила здесь, у тещи садовника, которая в то время была в живых; Василиса оставалась в Черном Боре со времени смерти Марьи Михайловны, и пока Тебенины были в Васильевском, она не хотела и ходить туда. Только недавно, лет пять или шесть, она вернулась к родным, которые там у нее были. Случилось, что в Покров день, день рождения Марьи Михайловны, Василиса долго молилась на ее могиле и весь день ни о чем не думала, как только о ней. Ночью, как она мне рассказывала, ей сон не давался. Пришло ей на мысль пройти к церковной ограде и через ограду еще раз взглянуть на могилу. И тогда был полный месяц, и светло было на дворе. Но Василиса и не дошла до того места, откуда видна могила. Как только она стала переходить через дорогу, она увидела, что покойница Марья Михайловна сама стоит у ограды, против притвора церкви, между кустов сирени, которые там растут. Она также была вся в белом, как прежде явилась Аксинье, и тихо кивнула головой Василисе. Василиса вскрикнула, обомлела и далее ничего не помнит. Как я ни расспрашивал, она ничего сказать не могла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.